

Тартуский университет
Кафедра русской литературы

ЛОТМАНОВСКИЙ СБОРНИК

4

О•Г•И
Москва 2014

УДК 003+82(091)
ББК 71.0
Л80

Редакционный совет:

Л. Н. Киселева, М. Ю. Лотман, С. Ю. Неклюдов, А. Л. Осповат, П. Тороп,
Б. А. Успенский, Т. В. Цивьян

Сборник составлен и подготовлен к печати кафедрой русской литературы
Тартуского университета

Над сборником работали: М. В. Боровикова, Р. С. Войтехович, Т. Т. Гузай-
ров, С. И. Долгорукова, Л. Н. Киселева, Р. Г. Лейбов, А. Л. Пильд,
Т. Н. Степанищева

Редакторы сборника: Л. Н. Киселева, Т. Н. Степанищева

Л80 Лотмановский сборник. 4. / Редакторы Л. Н. Киселева, Т. Н. Степани-
щева. — М.: ОГИ, 2014. — 664 с.

ISBN 978-5-94282-736-6

Четвертый выпуск собран по материалам международного Лотмановского конгрес-
са «Многоязычие культуры», прошедшего в Тарту в 2012 г. и посвященного 90-летию
Ю. М. Лотмана и 85-летию З. Г. Минц. Особый раздел сборника составляют воспоми-
нания о самих Лотманах.

УДК 1)
ББК 7

ISBN 978-5-94282-736-6

© Авторы статей, 2014
© Кафедра русской литературы Тартуского
университета, составление, 2014
© ОГИ, 2014

Александр Долинин. Кавказские врата (Дарьяльское ущелье в «Путешествии в Арзрум во время похода 1829 года»)	201
Екатерина Лямина, Александр Осоват. Об одной нарративной уловке Пушкина	217
Мargarита Лекомцева. «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...» в свете коммуникативной ситуации	227
Тимур Гузаиров. «Башаринский» план Пушкина (из комментариев к «Истории пугачевского бунта» и «Капитанской дочке»)	238
Алексей Вдовин, Роман Лейбов. Пушкин в школе: <i>cuticulum</i> и литературный канон в XIX веке	247
Дамиано Ребеккини. Научная диглоссия в историческом образовании Александра II (Лекции о Петре Великом)	260
Любовь Киселева. Язык сцены и язык драмы в имперском идеологическом строительстве 1830-х гг.	277
Михаил Велижев. «Безумие» и «закон» в николаевское царствование: Петр Чаадаев и Альфонс Жобар	296
Карла Мария Соливетти. «В Херсонскую их! Пусть их там живут!»: направление походов Чичикова	307
Владимир Паперный. Истоки «антитолстовского направления» в русской религиозной мысли середины XIX века	320
Наталья Осипова. Азбука Л. Н. Толстого как идеологический проект	333
Анна Литвина, Федор Успенский. Три судьбы двух сюжетов (Лев Толстой и мемуарные очерки В. А. Шомпулева)	347
Леа Пильд. Метафорика и образность в стихотворных посланиях Фета Л. Н. Толстому	362
Вадим Парсамов. «Билет на вход» Ивана Карамазова (к проблеме «Достоевский и Жозеф де Местр»)	373
Майя Кучерская, Александр Лифшиц. Лесков-миссионер	382
Давид Бетеа. Соловьев и Дарвин: между Софией и «выживанием сильнейших»	392
Мария Боровикова. О цикле Марины Цветаевой «Бессонница»	404
Роман Войтехович. Композиция книги Марины Цветаевой «Версты» (1921)	416
Евгения Табориская. Россия и Европа в воронежских стихах О. Мандельштама (мотив города)	432

Три судьбы двух сюжетов (Лев Толстой и мемуарные очерки В. А. Шомпулева)

Анна Литвина (Москва, НИУ ВШЭ),
Федор Успенский (Москва, НИУ ВШЭ —
Институт славяноведения РАН)

— Но позвольте, как же это? — спросила вдруг Настасья Филипповна. — Пять или шесть дней назад я читала в «Indépendance» — а я постоянно читаю «Indépendance» — точно такую же историю! Но решительно точно такую же! Это случилось на одной из прирейнских железных дорог, в вагоне, с одним французом и англичанкой: точно так же была вырвана сигара, точно так же была выкинута в окно болонка, наконец, точно так же и кончилось, как у вас. Даже платье светло-голубое! <...>

— Как! Точь-в-точь? Одна и та же история на двух концах Европы, и точь-в-точь такая же во всех подробностях, до светло-голубого платья! — настаивала безжалостная Настасья Филипповна. — Я вам «Indépendance Belge» пришло!

— Но заметьте, — все еще настаивал генерал, — что со мной произошло два года раньше...

— А, вот разве это!

Ф. М. Достоевский. «Идиот». Ч. I. Гл. 9.

I

События полувековой давности, своего рода «ближнее ретро», для которого еще можно найти живых свидетелей и множество передаваемых из уст в уста «живых» рассказов, дают историческому романисту (а отчасти даже автору мемуаров!) возможность выбора, в каком качестве будут мыслиться его герои: как *они* — обладающие массой чуждых нам привычек и понятий, или как *мы* — кровно близкие и доступные для нашего понимания люди, оказавшиеся в невиданных нами обстоятельствах.

В эпоху создания «Войны и мира» в русской литературе широко распространяется стилистика дистанцирующего описания конца XVIII — начала XIX столетия. В особенности это касается изображения бытовой, семейной стороны барской жизни минувшей эпохи — своеобразное коллекционирование деталей и примет этой жизни, уже немислимых для современности, превращается чуть ли не в элемент поэтики соответствующих текстов, создаваемых в 1860-е гг. Л. Н. Толстой же делает более или менее однозначный выбор в пользу *мы*, особенно актуально для него оказывается чувство преемственности, ощущение непрерывности традиции. Писатель помещает

и себя, и своего читателя в единый временной поток со своими героями — строй мыслей, чувств и повседневных впечатлений последних должен быть не просто понятен первым, но неотделим от их собственного восприятия действительности.

На первый взгляд может показаться, что при таком способе описания дворянского обихода Толстой не нуждается в сторонних рассказах, анекдотах эпохи. Автор конструирует свой текст так, как будто он сам и его читатели имеют возможность наблюдать сборы на первый бал Наташи Ростовой, сцены барской охоты или возвращения Николая Ростова к полковым товарищам собственными глазами, не прибегая к помощи внешней ретроспекции.

Между тем это не совсем так. Толстой, как известно, охотно собирал чужие устные рассказы (причем не только относительно монументальных исторических событий), однако весьма любопытно, что далеко не всегда истории его известных или безымянных информантов относились именно к первым десятилетиям XIX в., времени действия романа. Инкорпорация же подобных «заимствованных сюжетов» в текст осуществлялась таким образом, чтобы читатель ни в малой степени не воспринял их как какие-то внешние свидетельства.

Здесь мы хотели бы обратить внимание лишь на один эпизод из «Войны и мира», являющийся своего рода образчиком знаменитого психологизма Толстого, который строится на эффекте полного слияния перспективы автора, читателя и действующих лиц романа. Речь идет о столкновении старого графа Ростова и его крепостного охотника Данилы:

В ту же минуту из противоположной опушки с ревом, похожим на плач, растерянно выскочила одна, другая, третья гончая, и вся стая понеслась по полю, по тому самому месту, где пролез (пробежал) волк. Вслед за гончими расступились кусты орешника и показалась бурая, почерневшая от поту лошадь Данилы. На длинной спине ее комочком, валясь вперед, сидел Данило, без шапки, с седыми встрепанными волосами над красным, потным лицом.

— Улюлюлю, улюлю!.. — кричал он. Когда он увидел графа, в глазах его сверкнула молния. — Ж...! — крикнул он, грозясь поднятым арапником на графа. — Про...ли волка-то!.. охотники! — И как бы не удостоивая сконфуженного, испуганного графа дальнейшим разговором, он со всей злобой, пригтовленной на графа, ударил по ввалившимся мокрым бокам бурого мерина и понесся за гончими. Граф, как наказанный, стоял, оглядываясь и стараясь улыбкой вызвать в Семене сожаление к своему положению. <...>

Граф Илья Андреич тоже подъехал и потрогал волка.

— О, материщий какой, — сказал он. — Матерый, а? — спросил он у Данилы, стоявшего подле него.

— Матерый, ваше сиятельство, — отвечал Данило, поспешно снимая шапку.

Граф вспомнил своего прозванного волка и свое столкновение с Данилой.

— Однако, брат, ты сердит, — сказал граф. Данило ничего не сказал и только застенчиво улыбнулся детски-кроткой и приятной улыбкой¹.

Сцена построена так, что за ней, казалось бы, не может стоять ничего, кроме личных впечатлений и/или свободного творчества романиста. Между тем у нее есть, по-видимому, вполне конкретный сюжетный прототип, относящийся, впрочем, не к первому десятилетию XIX в., а к его середине. Автор «Войны и мира» не был очевидцем реального происшествия, легшего в его основу, но, разумеется, с легкостью мог слышать рассказы о нем, циркулировавшие в дворянской среде.

История эта кратко изложена, например, в дошедших до нас воспоминаниях саратовского помещика В. А. Шомпулева, которого с полным основанием можно назвать сверстником Толстого (он родился в 1830 г.):

Что же касается рассказанных мною безобразий на охоте, то охотничий азарт доходил в старые времена до невероятных вольностей даже крепостных охотников относительно своих помещиков. Я помню, как за известным крупным саратовским помещиком стариком С[тольпиным] на моих глазах гнался с арапельником его псарь, и помещик насилу от него ускакал. Вечером же, когда начались обычные рассказы его гостей-охотников и псарь был вызван для совета касательно охоты следующего дня, то старик не только не сделал псарю никакого выговора, а, напротив, начал перед ним оправдываться.

— Что ты, дурак, — говорил он, — разлетелся на меня! Ведь волк запал в бурьянник, ну, собаки-то и пронеслись. Что же я виноват тут? А ты выпучил глаза, да и драться лезешь.

На это псарь с укоризной ответил:

— Помилуйте, А[фанасий] А[лексеевич], я ведь два раза в рог голос подавал и всей стаей гончих волка вам на опушку вывел, борзые даже у вас на дыбках стояли, а вы закустались в перемычке, да и дремлете.

— Ну, врешь, врешь, дурак! — смеялся С[тольпин]².

Бросается в глаза сходство конкретных элементов — *кто, как и где* именно упустил волка, угроза арапником, до конца, впрочем, не доведенная, и т. п. Разумеется, Толстой существенно развернул и наполнил множеством дополнительных деталей соответствующий краткий, почти анекдотический сюжет. Однако тем более заметно единство фабулы и тональности его обогащенной красками художественного повествования версии и первоначального охотничьего рассказа. Близость интенции становится еще выразительней, коль скоро мы привлечем к рассмотрению более развернутые толстовские характеристики лиц, действующих в этой сцене.

В эпизоде, приведенном у Шомпулева, объяснение слуги со своим баринном происходит в тот момент, когда крепостного вызывают к господам для обсуждения планов завтрашней охоты. Описание подобного обсуждения имеется и у Толстого, оно не следует за интересующей нас сценой, а предшествует ей. При этом в нем акцентированы те же самые, весьма специфические отношения, существовавшие между помещиком и его человеком, которые, в сущности, и служат основным предметом разбираемой нами параллели — ср., например, своеобразное вступление к разговору Николая Ростова с Данилой:

— О гой! — послышался в это время тот неподражаемый охотничий подклик, который соединяет в себе и самый глубокий бас и самый тонкий тенор; и из-за угла вышел доезжачий и ловчий Данило, по-украински в скобку обстриженный, седой, морщинистый охотник, с гнутым арапником в руке и с тем выражением самостоятельности и презрения ко всему в мире, которое бывает только у охотников. Он снял свою черкесскую шапку перед барином и презрительно посмотрел на него. Презрение это не было оскорбительно для барина: Николай знал, что этот все презирающий и превыше всего стоящий Данило все-таки был его человек и охотник³.

Любопытно также вполне уловимое сходство двух персонажей — реального исторического лица, Афанасия Алексеевича Столыпина, и литературного героя, созданного Толстым, графа Ильи Андреевича Ростова. Согласно различным мемуарам (не только воспоминаниям Шомпулева), на рубеже 30–40-х гг. Столыпин был предводителем дворянства Саратовской губернии, жил на широкую ногу, имел дом в Москве и отличался общеизвестным добродушием, гостеприимством и представительностью. Под конец жизни Столыпин сделался, в частности, председателем попечительства, занимавшегося саратовским театром.

При этом мы хотели бы подчеркнуть, что едва ли стоит видеть в А. А. Столыпине *непосредственный прототип* графа Ильи Андреевича: речь идет о некотором общем типическом родстве характеров, которое делает историю, приключившуюся с одним, выгодно подходящей для конструирования образа другого. Для нас существенно, что люди, близкие по типу А. А. Столыпину, отчасти воплощали собой ту скользящую временную шкалу, которая последовательно выстраивается в «Войне и мире», делая прошлое пронизываемым для настоящего.

В самом деле, сверстники Толстого могли воочию наблюдать таких стариков-хлебосолов, как *старый* Афанасий Алексеевич. Родившийся в 1788 г., Столыпин, как и многие его ровесники, успел не только застать события 1805–1812 гг., но и принять в них самое непосредственное участие: за дело под Шевардиным он, взявший на себя командование ротой пешей гвардейской артиллерии, получил в награду золотую шпагу, брал отпуск по ранению, но успел со своими однополчанами в 1814 г. войти в Париж. В мирное время он был особенно любим полковыми товарищами, однако в 1817 г., будучи обойден чином, вышел в отставку и жил то в Москве, то в Саратове, то в своих саратовских владениях, во времена заняв положение своеобразного главы многочисленного столыпинского клана, опекающего племянниц, племянников, а иногда и двоюродных внуков.

С одной стороны, Толстой мог заинтересоваться услышанным охотничьим рассказом именно потому, что соотносил его главное действующее лицо, Столыпина «нынешнего», с героем Шевардина. С другой стороны, не все мемуаристы, столкнувшиеся с А. А. Столыпиным в 40–60-е гг., вообще придавали значение его участию в Отечественной войне. Для кого-то он был барином 20-х гг. (что верно лишь отчасти), а для кого-то представителем годов сороковых. Иначе говоря, в 60-е гг. человек его возраста зача-

стю воспринимался как некий обобщенный представитель прежней жизни, ушедшей в прошлое эпохи.

Так или иначе, во второй половине 1810-х гг. Столыпин был на самом деле человеком *молодым*, из героев «Войны и мира» в ровесники ему годился скорее Николай Ростов, но отнюдь не старый граф. Приписывая одному эпизод, случившийся с другим, Толстой в определенном смысле стирает поколенческую грань, а таким образом оказывается стертой и грань временная.

Этот принцип проницаемости времени становится еще более нагляден, если мы вспомним, что в качестве одного из прямых прототипов старого графа Ростова издавна (и совершенно справедливо) рассматривалась фигура деда писателя, полного тезки персонажа — Ильи Андреевича Толстого (1757–1820), который был на поколение старше А. А. Столыпина и вполне «соответствовал» по возрасту эпохе, описываемой в романе. Однако своего деда Толстой уже не застал в живых, да и почти никто из его ровесников уже не были активно действующими людьми к той поре, когда писатель мог начать ими интересоваться, об их жизни, даже о ее второй половине, ему приходилось судить по рассказам⁴. По-видимому, Толстому представлялось вполне возможным соединять эти рассказы с историями о тех, кто был стариками его собственного времени, и наделять людей поколения своего *деда* характеристическими чертами и свойствами тех, кто принадлежал скорее к поколению следующему, поколению его (Толстого) *отца*.

Дозволенность и уместность такого сближения непосредственно вытекает из идеи принципиальной неизменности человеческих характеров, прямо декларируемой Толстым в «Войне и мире». Образчик такой декларации можно увидеть, например, в авторской ремарке, сопровождающей слова графини Веры Ростовской, вышедшей замуж за Берга:

— Да, это правда, князь; в наше время, — продолжала Вера (упомяная о нашем времени, как вообще любят упоминать ограниченные люди, полагающие, что они нашли и оценили особенности нашего времени и что свойства людей изменяются со временем)...⁵

Подобного рода общей декларации тождества человеческих свойств на протяжении по крайней мере нескольких поколений как нельзя лучше соответствует такой изобразительный подход, когда зрительные впечатления, повседневные сцены, частные семейные коллизии «потомков» с легкостью экстраполируются на «предков».

Возвращаясь к охотничьей истории со Столыпиным, следует отметить, что Толстой едва ли мог быть в числе ее очевидцев, но то обстоятельство, что при разрешении конфликта присутствовало множество гостей, заставляет думать, что она запомнилась, сделалась предметом пересказа не только для В. А. Шомпулева и в качестве своеобразного анекдота распространилась далеко за пределы саратовского помещичьего круга, благо ни жизнь хозяина, ни жизнь гостей пределами губернии не ограничивалась.

Можно ли предположить, однако, что Толстой для развертывания собственного повествования воспользовался не этой готовой фабулой, а положил в ее основу нечто виденное и слышанное им самим, некий независимый эпизод на охоте? Разумеется, полностью отрицать такую возможность нельзя, но по обилию сходных деталей она представляется нам все же куда менее вероятной, чем простое использование расхожего устного рассказа о саратовском эпизоде.

Любопытно при этом, что Шомпулев, по-видимому, создавал свои воспоминания много лет спустя после выхода в свет «Войны и мира», во всяком случае, когда он готовил их к печати, роман уже сделался для русского читателя произведением хрестоматийным⁶. Тем не менее мемуарист никак не соотносит памятный ему случай с толстовским эпизодом. О мере начитанности Шомпулева нам судить трудно. Очевидно, что он не был полностью чужд изящной словесности, поскольку оставил после себя несколько прозаических опытов, да и сами воспоминания свои рассматривал, по-видимому, как основу для будущего автобиографического романа. Чтение фрагментов его художественного текста едва ли, впрочем, способно убедить читателя в наличии у их автора литературного дарования или хотя бы литературного вкуса, еще в меньшей мере его можно назвать, судя по этим текстам, подражателем Толстого. Трудно допустить тем не менее, что с «Войной и миром» он не был знаком вовсе. В таком случае его мемуары со всей очевидностью демонстрируют, что традиция занимательных анекдотов о былом, даже и пересекаясь единожды с традицией собственно литературной, в дальнейшем может существовать совершенно изолированно, не узнавая себя в художественном тексте.

II

Ситуация, когда мемуарная литература пользуется большим читательским спросом и формирует собственную традицию, во многом претендующую на независимость от литературы художественной, заставляет нас рассмотреть еще одну возможность появления столь схожих охотничьих сцен в столь различных произведениях.

В принципе не исключено, что здесь мы имеем дело со своего рода «фольклоризмом», со случаем родственным тому, когда собиратель образчиков народного творчества получает от своего информанта нарратив, вычитанный им из ранее опубликованного фольклорного сборника, но при этом подаваемый — вольно или невольно — как факт своего личного опыта.

Просту говоря, не мог ли Шомпулев когда-то, будучи относительно молодым человеком, прочесть «Войну и мир» и, запомнив эпизод на охоте, в старости изложить его как случай, которому он сам был непосредственным очевидцем?

Учитывая характер мемуариста, вырисовывающийся из его записок, такое предположение не представляется полностью невероятным. В самом деле, чтобы изложить рассказ, почерпнутый из Толстого, как собственное воспоминание, необходима некоторая начитанность, но при этом, пожалуй,

самого поверхностного толка — едва ли человек, *хорошо* знающий текст «Войны и мира», может по ошибке или сознательно представить себя или своих знакомых в качестве действующих лиц сцены из романа. Как кажется, такое возможно только в том случае, если рассказчик располагает лишь некими смутными воспоминаниями (*то ли где-то читал, то ли где-то слышал*) и потому считает себя вправе «присвоить» их, приписать себе лично.

Подобный уровень начитанности, равно как и подобный способ подачи материала, отчасти соответствует образу мемуариста. В. А. Шомпулев склонен изображать себя едва ли не центральной фигурой или, во всяком случае, активно действующим лицом во всех увеселениях, интригах и романтических происшествиях Саратовской губернии и всячески подчеркивать свое тесное знакомство с людьми знатными и известными. В частности, в автобиографическом романе тайное первенство в кружке театралов, для которых явным главой был богатый помещик, 70-летний Столпин (списанный с А. А. Столыпина), Шомпулев отводит себе, заметно окарикатуривая при этом самого Столыпина/Столыпина и двух его немолодых друзей, хотя, судя по другим мемуарным свидетельствам, маститые старцы в глазах окружающих выглядели куда более достойно, а Шомпулев — куда менее значительно⁷.

Тем не менее такой вектор заимствования, когда эпизод из романа искусственно превращается в живое свидетельство прошлого, представляется нам все же менее вероятным, чем вектор противоположный — превращение устного рассказа в литературный эпизод. В самом деле, в своих мемуарных текстах Шомпулев обычно придерживается несколько большей точности, чем в набросках к автобиографическому роману, и «поймать» его можно скорее на специфической расстановке акцентов, чрезмерном увлечении слухами, поверхностном понимании характеров, нежели на прямом домысливании и открытом сочинении эпизодов с собственным участием. Впрочем, здесь, разумеется, необходима тщательная проверка, хотя она не во всех случаях представляется возможной.

Существует, однако, еще один, исторически вполне достоверный эпизод, который, как отмечает в своем предисловии А. В. Кумаков, служит своеобразной точкой пересечения творчества Толстого и мемуаров Шомпулева. Речь идет о так называемом саратовском пикнике на Николин день, когда светская компания отправилась 5 декабря на увеселительную прогулку в село Разбойщина и после танцев и ужина, сопровождавшихся довольно легкомысленными тостами, на обратном пути в город была застигнута сильнейшей метелью. Многие участники пикника сильно обморозились, а одна из барышень, дочь саратовского губернатора, на время пропала и едва не погибла.

Именно на эту историю, как отмечает комментатор, ссылается одна из героинь «Отца Сергия», Маковкина (гл. IV). Шомпулев рассказывает о пикнике весьма подробно, поскольку в нем, по его словам, участвовала его родная дочь Вера, причем мемуарист особенно подчеркивает ее теснейшую дружбу с губернаторской дочкой и то обстоятельство, что девушки ехали

в одних санях. Подробно повествует он и о том, как его дочери удалось, благодаря своим спутникам, отделаться лишь незначительным обморожением, а впоследствии небольшой горячкой. В сообщении саратовских газет об участии В. В. Шомпулевой в пикнике не упоминается вовсе, а в качестве спутницы губернаторской дочери названа девица Алфимова; в числе же пострадавших мужчин фигурируют те же лица, что и у Шомпулева, — Булыгин и Миллер⁸.

В нашей перспективе существенно, во-первых, подтверждение того обстоятельства, что в творчестве Толстого и в мемуарах Шомпулева внимание автора и в самом деле может фиксироваться на одних и тех же происшествиях и подробностях действительной жизни, причем Толстой не чужд был интереса к событиям, случающимся в дворянской среде именно этой российской губернии. С другой стороны, об этом инциденте — в отличие от истории на охоте — сообщалось в газетах, а стало быть, использовать его мог каждый заинтересованный читатель. Однако самый характер использования данного эпизода у обоих интересующих нас повествователей способен сообщить нам довольно многое о манере их работы со свидетельствами прошлого.

Прежде всего, обращает на себя внимание, что события злосчастного пикника приходились на конец 1875 г., тогда как работа над «Отцом Сергием» осуществлялась в начале 90-х гг. и позднее. Оказывается, таким образом, что Толстой или сохранил в памяти, или счел нужным специально отыскивать рассказ о событиях пятнадцатилетней давности. Он не только напрямую ссылается на него в своей повести, но повторяет некоторые его сюжетообразующие мотивы и ряд конкретных деталей, имевших отношение к саратовскому пикнику⁹. Так, в частности, согласно Шомпулеву, одна из участниц, «подойдя к образу Николая угодника с бокалом в руке, смеясь, сказала: „С именинами тебя, старик, поздравляю“». Подобная игривая провокация вполне соответствует светской затее, описываемой в «Отце Сергии», а все это в совокупности заставляет думать, что Толстой знал об этом эпизоде больше того, что попало в газеты. Как мы убедимся далее, писатель в 90-е гг. и в самом деле помнил многое о времени и обстоятельствах этого происшествия. Можно сказать, что начало поездки Маковкиной и ее спутников он отчасти моделирует по образцу событий 1875 г., не только не пряча первоисточник, но намеренно выделяя его:

...Мне скучно. Мне нужно что-нибудь такое, что бы все это расстроило, перевернуло. Ну, хоть бы как те, в Саратове, кажется, поехали и замерзли. Ну, что бы наши сделали? Как бы вели себя? Да, наверное, подло. Каждый бы за себя. Да и я тоже подло вела бы себя...¹⁰

Отметим, что, решив проникнуть к отцу Сергию, героиня продолжает *имитировать* действия человека заблудившегося, погибающего от холода и вынужденного искать хоть какое-то жилье, хотя в день их прогулки — в отличие от достопамятного Николина дня — никакой метели не случилось и, напротив, была оттепель¹¹:

...На дворе была мга, туман, съедавший снег. Было тихо, тихо. И вдруг зашуршало у окна, и явственно голос — тот же нежный робкий голос, такой голос, который мог принадлежать только привлекательной женщине, проговорил:

— Пустите. Ради Христа...

Казалось, вся кровь прилила к сердцу и остановилась. Он не мог вздохнуть. «Да воскреснет бог и расточатся врази...»

— Да я не дьявол... — и слышно было, что улыбались уста, говорившие это. — Я не дьявол, я просто грешная женщина, заблудилась — не в переносном, а в прямом смысле (она засмеялась), замерзла и прошу приюта...

Он приложил лицо к стеклу. Лампадка отсвечивала и светилась везде в стекле. Он приставил ладони к обеим сторонам лица и вгляделся. Туман, мга, дерево, а вот направо. Она. Да, она, женщина в шубе с белой длинной шерстью, в шапке, с милым, милым, добрым испуганным лицом, тут, в двух вершках от его лица, пригнувшись к нему. Глаза их встретились и узнали друг друга. Не то чтобы они видели когда друг друга: они никогда не видались, но во взгляде, которым они обменялись, они (особенно он) почувствовали, что они знают друг друга, понятны друг другу. Сомневаться после этого взгляда в том, что это был дьявол, а не простая, добрая, милая, робкая женщина, нельзя было.

— Кто вы? Зачем вы? — сказал он.

— Да отоприте же, — с капризным самовластьем сказала она. — Я замерзла. Говорю вам, заблудилась.

— Да ведь я монах, отшельник.

— Ну, так и отоприте. А то хотите, чтоб я замерзла под окном, пока вы будете молиться.

— Да как вы...

— Не съем же я вас. Ради бога пустите. Я озябла наконец.

Ей самой становилось жутко. Она сказала это плачущим почти голосом.

Он отошел от окна, взглянул на икону Христа в терновом венке. «Господи, помоги мне, господи, помоги мне», — проговорил он, крестясь и кланясь в пояс, и подошел к двери, отворил ее в сенцы. В сенях ощупал крючок и стал откидывать его. С той стороны он слышал шаги. Она от окна переходила к двери. «Ай!» — вдруг вскрикнула она. Он понял, что она ногой попала в лужу, натекащую у порога. Руки его дрожали, и он никак не мог поднять натянутый дверью крючок.

— Да что же вы, пустите же. Я вся измокла. Я замерзла. Вы об спасении души думаете, а я замерзла¹².

Для нас же более всего существенно, что место саратовской истории в сюжете демонстрирует характерные для Толстого «манипуляции с хронологией». В повести всячески подчеркивается, что Степан-Сергий Касатский по своим взглядам — человек «сороковых годов» (гл. II), на 1840-е гг. приходится и его разрыв с невестой и последовавший за ним уход от мира (гл. I). Не сообщив точной даты рождения своего героя, Толстой последовательно предоставляет читателю относительную датировку событий его жизни — повесть изобилует ремарками, отмечающими, что «восемнадцати

лет он был выпущен офицером в гвардейский аристократический полк», «так прожил Касатский в первом монастыре, куда поступил, семь лет. В конце третьего года был пострижен в иеромонахи с именем Сергия», «на четвертом году его монашества архиерей особенно обласкал его...», «это было уже на второй год пребывания его в новом монастыре...», «на масленице шестого года жизни Сергия в затворе...» и др. Любопытно при этом, что Толстой указывает время двумя способами: более «обиходно-архаическим» («на второй год», «на шестой год») и более строгим («семь лет», «тринадцать лет»); когда же ему приходится совмещать один способ датировки с другим, то он округляет обиходные показания в сторону увеличения, и «второй год» превращается в его расчетах в «два года», а «шестой год» — в «шесть лет».

Итак, мы узнаем, что в первом монастыре отец Сергий провел семь лет, на второй год его жизни в столичном монастыре происходит встреча с полковым командиром, после чего он отправляется в Тамбинскую пустынь, где и становится затворником. Масленичная посетительница, вспоминая замерзших на пикнике саратовцев, появляется у него на шестой год затвора. Иными словами, между двумя событиями — уходом Степана-Сергия в монастырь и посещением Маковкиной — проходит 14–15 лет.

Здесь мы сталкиваемся с первым хронологическим несоответствием. Коль скоро Касатский удалился в монастырь в сороковые годы, даже и в самом конце их, то 15 лет спустя Маковкина никак не могла припоминать реальное событие, случившееся на Николин день 1875 г., потому что ему суждено было произойти лишь в будущем, еще 10–15 лет спустя.

Разумеется, несмотря на старательную расстановку временных вех и упоминания исторических лиц, невозможно требовать от повествователя строгого соотнесения реальных дат с датами его рассказа. В 90-е гг. саратовская история могла бы восприниматься и подаваться Толстым как нечто, случившееся достаточно давно, без хронологической спецификации. Правда, нельзя не отметить, что и при таком подходе к делу зазор между временем повествования и временем реального события достаточно велик. Однако у нас есть убедительное доказательство, что Толстой в ту пору достаточно хорошо помнил подлинную хронологию, связанную со страшной саратовской метелью, и положил ее в основу куда более точных временных расчетов в другом своем произведении.

Речь идет о рассказе «Хозяин и работник», который писался во второй половине 1894 — начале 1895 г. Биографы Толстого полагали, что сюжет его навеян событиями холодной и голодной зимы 1892/93 гг. Не отрицая, разумеется, этого влияния свежих впечатлений, обратим внимание, как начинается толстовский текст: «Это было в семидесятих годах, на другой день после зимнего Николы...»¹³

В воспоминаниях Шомпулева и газетных сообщениях отмечается, что знаменитая метель продолжалась и в самый праздник, и на другой день после него. Недаром соответствующий шомпулевский очерк начинается весьма сходно с рассказом Толстого:

В 70-х годах прошлого XIX столетия саратовский beau monde, пресыщенный городскими развлечениями, надумал устроить пикник под Николин день...¹⁴

Рассказ «Хозяин и работник» в еще более явном виде, чем «Отец Сергий», строится вокруг оси, ведущей из прошлого к настоящему, причем конец этой оси как бы прорывает ткань художественного текста. Его финал подчеркнуто соотношен с актуальным настоящим, сегодняшним ненарративным временем — работник Никита «еще двадцать лет продолжал жить» после смерти своего хозяина, а «помер он только в нынешнем году дома, как желал». Если учесть, что рассказ попадает к читателю в 1895 г., то к этому моменту со времен страшной метели на Николин день, случившейся в Саратове, прошло как раз 19 с лишним лет (или 20 лет, по толстовскому методу округления).

Таким образом, Толстой не только осведомлен о хронологии данного реального события, но в тех случаях, когда это соответствует его намерениям, с достаточно большой точностью синхронизирует время повествования и реальное событийное время. Быть может, в авторском сознании выстраивалась своего рода множественная параллель — что происходило в одни и те же далекие декабрьские дни со светскими господами, что — с сельским купцом, а что — с его работником.

В «Отце Сергии» же, по-видимому, на первый план выдвигались иные авторские задачи. Существенно, в частности, что в эпизоде с приездом незнакомой гостьи мы сталкиваемся с еще одной хронологической неувязкой. Толстой отмечает, что в это время отцу Сергию было 49 лет. Но в таком случае оказывается, что он разорвал со своей невестой, будучи уже весьма зрелым человеком, лет 34–35 от роду. Сам по себе этот факт не казался бы странным, если бы Толстой не говорил о своем персонаже как о человеке, находящемся в самом начале карьеры, которая почитается окружающими блестящей — он командует эскадроном, рассчитывает на флигель-адъютантство... Кроме того, последняя его возрастная черта в миру, отмеченная автором, связана с тем, что он 18-летним юношей выходит из корпуса, затем Касатский успевает отдать часть имения сестре, усовершенствоваться во французском и умении танцевать, соприкоснуться с придворной жизнью. Всех этих событий едва ли хватило бы более чем на полтора десятка лет, все эти умения и поступки, а также те мысли и чувства, которые переживает герой, укладываются в образ человека молодого. Да и блестящая карьера в ту пору, когда офицеру заметно за тридцать, вряд ли может ограничиваться лишь ожиданием флигель-адъютантского чина.

Иначе говоря, в первых главах повести перед нами предстает скорее человек в середине третьего, а не четвертого десятилетия своей жизни, но почему-то 14–15 лет спустя мы находим его уже 49-летним монахом. Остается стойкое ощущение, что автор снова каким-то образом перескакивает здесь через существенный временной отрезок, но на этот раз уже внутри нарративного времени, а не при соотношении времени рассказа и времени реальных событий.

Почему же такое оказывается возможным в повести, где столь последовательно, казалось бы, выстраивается хронологическая шкала жизни главного героя?

Необходимо учитывать, конечно, что «Отец Сергей» — произведение не вполне законченное. Толстой возвращался к нему несколько раз, читал и пересказывал разным лицам, но не публиковал при жизни. Однако это обстоятельство, пожалуй, лишь более отчетливо позволяет увидеть процесс и механизм его работы над текстом. Здесь, на наш взгляд, заметно проступает принцип переплетения характеристик конкретной исторической эпохи, конкретных исторических типажей и опыта личных переживаний и размышлений, причем последний явно доминирует.

Условно говоря, Маковкина могла бы вспоминать о замерзших саратовцах на Масленицу 1876 г. или в течение нескольких ближайших к этой дате лет, пока это происшествие было мало-мальски свежей новостью для людей ее круга. Однако в эту пору человек, расставшийся со своей невестой в 1840-е гг., никак не мог провести вдали от мира всего 15 лет. С другой стороны, будь затворничество Сергея более долгим, чем отмечено в повести, он был бы ко второй половине 70-х гг. старше того возраста, который указывается в произведении. Иначе говоря, применительно к центральному персонажу повести хронология никак не складывается в единое целое, хотя внешне автор как будто стремится к ее выверенности и определенности (называя, в частности, точные, некруглые цифры).

Здесь приходится отметить, что в поле нашего зрения попадает ровно один человек, которому вскоре после саратовских событий, в 1877 г., и в самом деле исполнилось 49 лет — это не кто иной, как автор повести «Отец Сергей». Мы ни в коем случае не хотели бы настаивать на решающем характере этого совпадения (как и на идеальной верности всех наших предыдущих подсчетов). Скорее оно служит знаком толстовского стремления совместить образ и события, принадлежащие определенному временному срезу, с собственным внутренним опытом, ведущим к принятию решений, актуальным для писателя сегодня и в будущем. На этот раз ему нужен не вневременной типаж, каким отчасти является старый граф в «Войне и мире», а образ, не выходящий за рамки совершенно определенной эпохи. Условно говоря, персонаж должен быть как минимум несколько старше автора, и одновременно он оказывается его ровесником или даже несколько младше. Автор балансирует между хронологией собственной жизни и хронологией жизни того, кто успевал бы жениться на молодой любовнице императора Николая I. При этом дело представлено так, что к сегодняшнему дню жизненный круг героя завершен, хотя жизнь его не окончена. Более того, в определенном смысле найденный отцом Сергием в финале выход — это то будущее, которое Толстой предлагает себе и своему читателю:

В Сибири он поселился на займке у богатого мужика и теперь живет там. Он работает у хозяина в огороде, и учит детей, и ходит за больными¹⁵.

Что же нам дает шомпулевская интерпретация событий на Николин день? Естественным для почти всякого мемуариста образом Шомпулев выделяет, а возможно, и преувеличивает в каждом происшествии собственную роль и роль своих близких. Так, он подчеркивает равенство судеб собственной дочери и дочери губернатора Набокова (ср. несколько неожиданно лаконичную ремарку: «Обе они впоследствии вышли замуж»). Имен некоторых других действующих лиц он то ли не хочет называть, то ли не помнит, хотя в их описания вставляются весьма колоритные подробности:

Сбившись с пути и проплутав всю ночь, все перепростудились, пообморозились, и в особенности легко одетое дамское общество, исключая маленькой юркой барыньки, которая, спустившись на дно саней, прикрылась любимой собакой, большим сенбернаром¹⁶.

Любопытно, что у Толстого в «Отце Сергии» несколько раз специально упоминаются белые собачьи шубы, в которые одеты дамы, у Маковкиной же это белая собачья ротонда¹⁷. Именно ротонда, по словам В. А. Шомпулева, чуть не стала причиной гибели Лидии Набоковой¹⁸.

Иными словами, мы можем убедиться, что Шомпулев в своих мемуарах, при известном смещении акцентов и неточностях, достаточно внимателен к деталям. Причем в данном случае ни его нельзя заподозрить в использовании толстовского текста, поскольку «Отец Сергий» к моменту опубликования очерка еще не увидел свет, ни Толстого — в непосредственном обращении именно к этим мемуарам, поскольку в последние годы жизни он, судя по утверждению биографов, к тексту повести не возвращался. Скорее всего, в данном случае оба автора — и Шомпулев, и Толстой — отчасти отталкивались от давних газетных сообщений, кроме того, первый несомненно руководствовался собственными, пусть и приукрашенными, воспоминаниями о реальном событии, тогда как второй, возможно, был знаком с ним по чужим устным рассказам.

Итак, эпизод с саратовской метелью, который лучше «задокументирован» и потому предоставляет нам больше возможностей для объективных решений, позволяет пронаблюдать, как мемуарист и писатель независимо пользуются одними и теми же материалами, почерпнутыми из относительно недавнего прошлого. Толстой при этом считает возможным ради решения своих художественных задач различным образом перенастраивать шкалу соответствия реального и повествовательного времени. Разумеется, с абсолютной надежностью экстраполировать модель, связанную с одним общим эпизодом, на все остальные едва ли правомерно. Тем не менее самое существование такой модели дает основание с большей уверенностью утверждать, что и для эпизода на охоте не В. А. Шомпулев «одолжил» сюжет из «Войны и мира», а Толстой использовал фабулу устного рассказа о домашнем приключении А. А. Столыпина, независимым образом дошедшего до него в качестве своеобразного анекдота.

Примечания

- ¹ Толстой Л. Н. Собр. соч.: В 22 т. М., 1978–1985. Т. V. С. 260–261, 265 (гл. 4–5).
- ² Шомпулев В. А. Записки старого помещика / Сост., вступ. ст., подгот. текста А. В. Кумакова; коммент. А. В. Кумакова и И. Н. Плешакова. М., 2012. С. 57.
- ³ Толстой Л. Н. Собр. соч. Т. V. С. 254 (гл. 3).
- ⁴ Хорошо известно, как именно Толстой реконструировал по рассказам облик своего деда: «Дед мой, Илья Андреевич, ее муж, был тоже, как я его понимал (курсив наш. — А. Л., Ф. У.), человек ограниченный, очень мягкий, веселый и не только щедрый, но бесполомотоватый, а главное — доверчивый. В имении его, Белевского уезда, Полянах, — не Ясной Поляне, но Полянах, — шло долго не переставшее пиршество, театры, балы, обеды, катания, которые, в особенности при склонности деда играть по большой в ломбер и вист, не умея играть и при готовности давать всем, кто просил, взаймы и без отдачи, а главное, затеваемыми аферами, откупам, кончились тем, что большое имение его жены все было так запутано в долгах, что жить было нечем, и дед должен был выхлопотать и взять, что ему было легко при его связях, место губернатора в Казани. Дед, как мне рассказывали, не брал взятки, кроме как с откупщика, что было тогда общепринятым обычаем, и сердился, когда их предлагали ему. Но бабушка, как мне рассказывали, тайно от мужа брала приношения» (Бирюков П. Биография Л. Н. Толстого. Кн. 1. М., 2000. Ч. I. Гл. 1. С. 8–9).
- ⁵ Толстой Л. Н. Собр. соч. Т. V. С. 225 (гл. 21).
- ⁶ Соответствующий очерк («Провинциальные типы 40-х годов») был опубликован в «Русской старине» в 1898 г.
- ⁷ Шомпулев В. А. Указ. соч. С. 343–344.
- ⁸ Обзор газетных сообщений, сделанный А. В. Кумаковым и И. Н. Плешаковой, см. в: Шомпулев В. А. Указ. соч. С. 325–326.
- ⁹ «На масленице шестого года жизни Сергия в затворе из соседнего города, после блинов с вином, собралась веселая компания богатых людей, мужчин и женщин, кататься на тройках. Компания состояла из двух адвокатов, одного богатого помещика, офицера и четырех женщин. Одна была жена офицера, другая — помещика, третья была девица, сестра помещика, и четвертая была разведенная жена, красавица, богачка и чудачка, удивлявшая и мутившая город своими выходками. Погода была прекрасная, дорога — как пол. Проехали верст десять за городом, остановились, и началось совещание, куда ехать: назад или дальше <...> Ямщикам поднесли вина. Сами достали ящик с пирожками, вином, конфетами. Дамы закутались в белые собачьи шубы. Ямщики поспорили, кому ехать передом, и один, молодой, повернувшись ухарски боком, повел длинным кнутовищем, крикнул, — и залялись колокольчики, и завизжали полозья» (Толстой Л. Н. Собр. соч. Т. XII. С. 354–355).
- ¹⁰ Толстой Л. Н. Собр. соч. Т. XII. С. 356.
- ¹¹ Единственным спасением для разделенных бурей участников саратовских событий представлялось хоть какое-то жилище или укрытие. Ср. рассказ Шомпулева: «На ее [В. В. Шомпулевой] счастье часть общества, среди которого она находилась, набрела на пустые дегтярные сараи, где оказалась кадка с водой. И по совету доктора Степанова пожилой помещик, владелец села Бекова, М. А. Устинов, пробив лед в кадке и раздев Веру, опустил ее обледеневшие руки и ноги в воду, где насильно и держал их до тех пор, пока обмороженные члены отошли». Другие участники пикника, «рассчитывая добраться до железнодорожной караулки, пошли по рельсам возвышенной насыпи». Ср. также в газетном сообщении «Саратовского листка»: «Ее принесли в сторожку и пытались привести в чувство, оттирая снегом. Только к утру 7-го числа можно было доставить ее в крытом экипаже в дом родителей» (Шомпулев В. А. Указ. соч. С. 168, 326).
- ¹² Толстой Л. Н. Собр. соч. Т. XII. С. 358–359.
- ¹³ Там же. С. 297.
- ¹⁴ Шомпулев В. А. Указ. соч. С. 167.

¹⁵ Там же. С. 384.

¹⁶ Шомпулев В. А. Указ. соч. С. 167.

¹⁷ Ср. «...дамы закутались в белые собачьи пубы» (гл. IV), «...она, в своей белой собачьей шубе, пошла по дорожке» (гл. V), «„Вероятно, запирается чем-нибудь от меня“, — подумала она, улыбнувшись, и, скинув собачью белую ротонду, стала снимать шапку, зацепившуюся за волоса, и вязаный платок, бывший под ней» (гл. V).

¹⁸ Ср. «Но так как Набокова была в ротонде и взять ее под руку не представлялось возможности, то сильным порывом ветра ее снесло вниз, а спутников сбilo с ног, и они, опомнившись после своего падения, отыскать ее не могли» (В. А. Шомпулев. Указ. соч. С. 168).